



Юрий Колкер

**СЕМЕРО, НЕ ПОБЕДИВШИЕ МИФ
В ЧЕМ ГЛАВНАЯ НЕПРАВДА ВЕХ**

Сто лет назад семеро авторов, соперничая в своем рвении, наговорили обидного в адрес русского человека. Сказали ему — это ж нужно было додуматься! — “постарайся стать человеком”. Среди критиков преобладали иностранцы. Отчего все эти Людвиговичи да Соломоновичи ополчились на Россию? Чем она им не угодила? Ведь, кажется, сыты и барственны, по гудку не встают; сало русское едят (да-да: все семеро ели сало). Конечно, обращались они не ко всей России, а к русской интеллигенции, писали об интеллигенции, — но к кому же им было и обращаться? Ведь страна (берем это слово в значении английского **nation**) — не все без разбора граждане, а только думающие люди страны; только те, кто способен услышать.

Семеро ополчились против сложносочиненного мифа, в котором важная правда мешалась с романтической ложью. В общих чертах миф таков. Русское самодержавие и русский народ — две неродственные враждебные силы. Самодержавие душил народ; всё зло — в царизме; свергнуть деспотический гнёт — и наступит рай на земле. Народ молчит только по своей забитости и безграмотности, сам же он хороший до святости. Защищает народ, выражает его интересы, притом жертвенно, — русская интеллигенция. В России думающий человек, по большей части молодой, пылкий и чистый сердцем студент, осознал свой долг перед народом, живет для народа. Он служит прогрессу: идет на виселицу ради крестьян и рабочих. Жертва и подвиг, вера во всеобщее равенство и справедливость, освобождают его от обычной (“мещанской”) нравственности: ведь он занят делом несопоставимо более высоким. Учиться и работать ему незачем. Русская интеллигенция не верит в Бога и потому прогрессивна. Тем самым (подразумеваемая фигура умолчания) она — а через нее и Россия — совесть Европы и мира, будущее человечества.

Семеро победили — исторически, в интеллектуальном и нравственном смысле. Мы сегодня восхищаемся ими, презираем их зоилов. Мы согласны с ними почти во всем — изумляемся же только тому, что они проглядели главное. Ибо эти семеро сражались с мифом-карликом, высланным вперед мифом-гигантом. Настоящего врага они не то что не победили, а даже не распознали.

“ПОТОМКИ ОЦЕНЯТ ВАЖНОСТЬ МОМЕНТА”

Мыслитель сидит за большим письменным столом, обмакивает стальное перо в массивную чернильницу (ее содержимое отливает лиловым... никогда, никогда больше мы не увидим этой магической жидкости, не вдохнем ее будоражащего, зовущего в будущее запаха!) и пишет, иногда зачеркивая, — на добротной бумаге, не спеша, размашистым почерком, пространными, длинными, вдумчивыми фразами; а перо — скрипит и оставляет на бумаге мелкие брызги. Исписав лист, мыслитель прикладывает к последним строкам тяжелое пресс-папье из красного дерева; переворачивает лист, не спеша кладет его в стопку уже исписанных, а сверху прижимает другим пресс-папье, другим по назначению: таким мраморным спудом, с рукояткой в форме св. Георгия, копьём протыкающего ящера: чтобы листы не разлетелись от дуновения залетевшего из открытого окна ветерка.

“Нижеследующие строки посвящены лишь одной части этой обширной и сложной задачи... Два факта величайшей важности должны сосредоточить на себе внимание тех, кто хочет и может обсудить свободно и правдиво современное положение нашего общества и пути к его возрождению... Здесь можно наперед рассчитывать лишь на приблизительную точность. Но и несовершенная попытка анализа весьма важна и настоятельно необходима...”

Слов не жалеет. Хочет исчерпать тему. Знает, что всё, от слова до слова, будет набрано и оттиснуто свинцовыми литерами без редакционных вторжений — потому что он, мыслитель молодой, но уже замеченный, твердо стоящий на ногах в общественном и материальном смысле, — сам себе редактор. Верит, что всё написанное будет прочитано таким же вдумчивым, образованным читателем, который (такая эпоха на дворе, **would you believe it...** нет, лучше **pourriez-vous le croire?**) только тем от писателя и отличается, что сам этого не написал, не взялся за перо, не возложил на себя аскезу творчества.

За окном весна 1909 года. Горят газовые фонари. Слышен цокот подков, не звонкий, а приглушенный деревянными торцами мостовой. Россия хоть и проиграла войну с Японией (первую войну нового типа, с пулеметами, траншеями, массовыми жертвами и полостными операциями в полевых условиях); хоть и пережила неудачную революцию, выявившую несостоятельность русской интеллигенции, но всё же — стоит “неколебимо, как Россия”. Мыслитель занят ее будущим. Что этой страны не будет вовсе; что она *навсегда* исчезнет через несколько лет; *что самый русский народ исчезнет*, переродившись, — этого мыслитель и в мыслях не имеет. Не знает, что умрет в эмиграции.

ИХ НЕ ПРОЧЛИ

Их было семеро, всего семеро — по числу осаждавших Фивы, по числу дней недели и струн гитары (бывшей кифары), по числу священных городов Месопотамии и главных светил у халдеев... Слово для их обозначения вошло в язык: *веховцы*. Произнесешь — и все видят этих семерых. Неудивительно: после выхода сборника гвалт в печати поднялся небывалый, настоящий шквал. Но при этом — их не прочли. Тогда, в 1909 году, — не поняли, не по мозгам оказалось. Обиделись на них смертельно. Мыслители говорят: смотрите фак-

там в глаза, прекратите самолюбование, уважайте мысль, освободите ее от предвзятости. Им отвечают хором: вы — изменники, вы защищаете штыки, тюрьмы и виселицы.

Потом случилась война, которую в мире называют великой. После 1917 года — не до чтения стало, нужно было быстро строить социализм. Построили ГУЛАГ с придатком в форме социалистического отечества. Спровоцировали и выиграла (по другим сведениям, проиграла) войну, которую называют великой в России. После войны задумались и стали читать. Дошла очередь до *Вех*: в них прочли, что идеям нужна национальная почва, и все скопом крестились в православие (в основном — евреи). После 1991 года — нужно было быстро разрушать социализм и строить капитализм; опять не до чтения.

Сейчас — *Вехи* почти так же далеки от нас, как *Слово о полку Игореве*. Исторический памятник, к жизни отношения не имеющий; текст, обращенный в несостоявшееся будущее. Самое время взглянуть на него из будущего и задуматься. Это мучительное чтение. Слог веховцев велеречив; композиционно эти статьи рыхлы, перенасыщены повторами; каждая фраза, будучи мыслью, требует от читателя работы, — но мученье не в этом, а в том, что каждое слово великолепной семерки дышит надеждой. Горько за них и за нас.

ЧТО ИХ СВЕЛО

Инициатор *Вех*, Михаил Гершензон, говорит в предисловии: “Не с высокомерным презрением к ее [интеллигенции] прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны...”

Еще бы! Веховцы — плоть от плоти интеллигенции: ее совесть, ее проснувшаяся от спячки мысль. Разумеется, они не на стороне деспотизма, а на стороне подавленной революции, с народом и с интеллигенцией. Они верят в интеллигенцию, потому и говорят, что она внутренне была не готова к этой революции, обманулась в себе и обманула ожидания народа (то есть простонародья).

Общая платформа участников — “признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития”. Первый элемент этой духовности — работать над собою, воспринимать несовершенство мира через призму своего несовершенства. Неправда, что “тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман”; неверно, что “если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой”. Нет чести безумцу за безумие. Русский интеллигент лжет во спасение — вот с чем нужно покончить...

Почему Россия обиделась на это? Разве ей что-то новое сказали? Открываем *Новь* (1877) Тургенева: “Известное, хоть и не совсем понятное дело: русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете, а ничего так не уважают, как правду, — ничему так не сочувствуют, как именно ей...”

Вот где собака зарыта: ложь личная — ради правды общественной. “Идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на признании безусловного примата общественных форм, — представляется участникам книги внутренне ошибочной и практически бесплодной... неспособной привести к осво-

бождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками нет разногласий” (Гершензон).

В остальном, продолжает Гершензон, участники сильно расходятся. Это не бросается в глаза потому. Поражает как раз сходство суждений и словаря, единство и цельность сборника. Веховцы часто повторяют и превосходно дополняют друг друга. Они диалектики: дают слово тому, кому возражают, выслушивают противника, строят рассуждения по схеме “с одной стороны, с другой стороны”; “да — но”.

Конечно, говоря “русская интеллигенция”, каждый из них имеет в виду что-то своё. Считать ли интеллигентами Витте и (или) Плеханова? Здесь авторы не согласятся, однако ядро интеллигенции — в их представлении — общее. Труднее в сойтись другом: обязательна ли вера в Бога? Для большинства — да, для двоих — Булгакова и Бердяева — всё дело преимущественно в ней, но один из веховцев, Изгоев, подводит читателя к мысли, что он атеист; другой, Кистяковский (вообще стоящий особняком), обходится без гипотезы о существовании Бога.

Социализм не кажется веховцам злом. Они приветствуют марксизм как свежее западное течение мысли, как призыв к труду и творчеству, даже — вы послушайте! — к закону, только советуют брать из марксизма одну политэкономия — и огорчаются, что в России лучшее, что есть в марксизме, было тотчас проглочено народничеством.

Как они всё это сказали? Послушаем их еще раз; дело это поучительное. Дадим каждому по **300** слов.

СТРУВЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Петр Струве дал определение русской интеллигенции, оказавшееся универсальным: она — не интеллектуалы (как на Западе), не профессионалы, не образованные люди, а та их часть, которая противопоставляет себя несправедливому государству (в точности как допетровское казачество). Свергнуть гнет — и всё само собою устроится, потому что люди вообще по природе своей — хорошие, добрые. Аксиома Роберта Оуэна в кирзовых сапогах: плохим человека делает среда, — вот что у интеллигенции на уме.

В отличие от Запада, борьбу русской интеллигенции против деспотизма не подстилает религиозная идея. Борцам нечего противопоставить исторической государственности; отсюда неудача революции 1905 года. Победила реакция, но государство не обязательно реакционно. Роль государства вообще объединительная. Оно с необходимостью консервативно, ибо несет в себе национальную идею, но, при внутреннем здоровье, оно же — и конструктивно. Нужно служить этому здоровью. Интеллигентское отщепенчество подрывает всенародный смысл государства. Интеллигенция безрелигиозна. Неправда, что у нее — другая религия: правдоискательство без Бога — вздор. Социализм не противоречит религии, но он — не религия. Беда социализма — в непонимании и отрицании личного подвига каждого человека. Религия учит любви (к Богу, к ближнему) и самосовершенствованию; видит в этом спасение. Только из личного естественным образом выводится общественное.

В 1905 году интеллигенты-отщепенцы впервые столкнулись с младенческой народной мыслью, ничего в ней не поняли и — вместо воспитательного с

нею сотрудничества ради России — навесили на нее свои книжные формулы. Безрелигиозность пагубна в политике, поскольку освобождает от совести и нравственных ориентиров.

Царский манифест 1905 года — поворотный момент истории. Государство уступило. Тут бы революции и завершиться, но радикальные силы остервенели от ненависти, повели себя так, словно самодержавие — внешний неприятель, а не такая же Россия, как они сами. Остервенение подогревалось заимствованной схемой, романтическим шаблоном, без понимания взятым на Западе. Ни английская, ни французская революция поначалу не собирались уничтожать монархию, там хотели реформ, постепенного улучшения жизни; короны пали “в силу рокового сцепления фактов”. У нас — “всё или ничего”; революционная (притом подражательная) романтика вместо здравого смысла. Там — не подрывали национальную целостность перед другими народами; у нас — пусть хоть вообще России не будет, лишь бы не было царя.

Интеллигент не видит, что и у “народа” есть долг: общечеловеческий долг личного совершенствования, личной ответственности; не предполагает у народа никаких обязанностей — только права. Эта мысль просочилась в народ и развратила его. Вне идеи воспитания в политике возможны только деспотизм или охлократия.

В 1909 году Петру Бернгардовичу Струве — 39 лет. Он умрет в Париже, в 1944 году.

ФРАНК: НА ВИСЕЛИЦУ — ЗА ПЕЧНОЙ ГОРШОК

“Но мрамор сей ведь бог!.. так что же? Печной горшок тебе дороже: ты пищу в нем себе варишь...” Семен Франк словно бы держит в уме эти стихи и накладывает на них лупу. Идеалы истины, красоты, отвлеченной мысли и Бога, говорит Франк, не кажутся русскому интеллигенту реальными ценностями. Польза — вот наш истукан и фетиш. У русского интеллигента нет ни интеллектуальной, ни эстетической совести. “Кто любит истину или красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу... кто любит Бога, того считают прямым врагом народа”. Бог для Франка — *объективен*. Для верующего (в Бога, в истину, в красоту) справедливость — всего лишь производная от объективных ценностей, для русского интеллигента она — самоцель, идол, Молох. Интеллигент обожествляет народ, поклоняется языческому кумиру.

Русскому интеллигенту враждебно понятие культуры. Европейец понимает культуру как общественно-историческое осуществление объективных ценностей. Он занят культурным творчеством: совершенствованием своей человеческой природы и, тем самым, окружающей жизни. У русского — мир и человек уже готовы для земного рая, мешают только царь да Третье отделение. Русский интеллигент хочет не строить, а разрушать. Некоторое уважение к культуре впервые прозвучало с появлением марксизма, но косный народнический дух тотчас это уважение.

Русский интеллигент презирает богатство и накопление, в том числе — культурное. Распределение для него — всё, созидание — ничто. Он не сознает, что вне национального богатства (то есть культуры) немислимо народное благосостояние. Ему грезится равенство в нищете, аскетизм без Бога: механистический рай полусытых и полуграмотных, — лишь бы никто не высывался.

Его морализм превращается в прямую безнравственность в русском революционере.

Противоречия взорвали интеллигенцию изнутри, отсюда — провал революции. Изначально чистое — стало грязным. Интеллигенция дошла до “грабежей и животной разнузданности” (слова не совсем ясные; не о еврейских ли погромах 1905-07 говорит Франк?). Отрицание абсолютных ценностей обосновывает примат силы над правом. Явилась партийная мораль: мораль насилия и подавления...

Семен Людвигович Франк умер в Лондоне, в 1950 году. Когда он писал для *Vex*, ему был 32 года.

ГЕРШЕНЗОН: ЖИВЁМ ВНЕ СЕБЯ

“Мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов... Жизнь русского интеллигента — личная, семейная, общественная — безобразна и непоследовательна”, — говорит Михаил Гершензон. Сознание русского интеллигента оторвалось от воли, как паровоз от поезда, и умчалось вдаль. Русский интеллигент живет *вне себя*. Он с пеленок знает, что печься о себе — эгоизм, его верховный принцип — служение народу. Выкрикнув это в юности в лицо самодержавию, интеллигент всю оставшуюся жизнь со спокойной совестью ничего не делает. Между тем спасение и человека, и общества, и государства — личное делание каждого, нравственная и творческая работа. Самые яркие из интеллигентов, при всей кошмарности их заблуждения, — революционеры: они хоть что-то *делают*.

Сознание осуществляет истину только через волю. Сознание и воля — чета, склонная к разрыву. В разрыве — оба беспомощны. В их союзе и постоянной борьбе, в их роковом поединке — созидание человека. Каждый человек, созидая себя, созидает вселенную. Мировая истина, входя в индивидуальное сознание и пресуществляясь в нем, взрослеет сама, ибо “всякое *существенное* изменение в атоме есть бесповоротный акт космический”. Целостная, *нормальная* личность не может не быть религиозной.

Петровская реформа создала русскую интеллигенцию — и сразу расколола надвое личность. У верхних началось “праздное обжорство истиной”, у нижних — не проснулось сознание. Деспотизм был бы невозможен, найдись в России хоть горсть людей целостных, в которых бы сознание и воля сотрудились.

Интеллигенция повредилась на идее, что жизнь мира и души можно устроить по законам логики. Иррациональная природа бытия ей не дается. Отсюда безверье. В нормальной жизни духа — позитивизм как мировоззрение невозможен.

В России не было своей национальной эволюции мысли. Мысль только забрезжила — у Чаадаева и славянофилов. Славянофилы сказали важную правду: душа простонародья — качественно иная, оттого-то оно и держит интеллигенцию за врагов. “Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной”. (Именно эта фраза вызвала шквал глупых обвинений в ад-

рес веховцев — и как же она оправдалась в ходе следующей революции, в гражданскую войну, в ГУЛАГе!)

Россию не исцелила великая русская литература. Силу художественного гения у нас почти безошибочно измеряется степенью его ненависти к интеллигенции. Народ тоже ненавидит интеллигенцию, потому что не чувствует, не находит в ней души.

Зря у нас так ополчились на эгоизм. Он, как и всякое самоутверждение, — великая творческая сила; именно эта сила делает западную буржуазию могучим бессознательным орудием Божьего дела на земле.

Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) — единственный веховец, продолжавший работать при большевиках после 1922 года и даже входивший в бюро Наркомпроса. В 1909 году ему 40 лет.

ИЗГОЕВ: НАША ЧИСТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Изгоев пишет: в интеллигентных семьях нет культурной преемственности; семья не воспитывает. Душа ребенка развивается в противостоянии старшим. Была семья и преемственность — только у дворян-славянофилов, не у интеллигентов. “Огромное число наших детей вступает в университет уже растленными” — через публичный дом или горничную. Этого нет ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции. Половая жизнь начинается у нас с 14-и, с 12-и лет. Три четверти опрошенных студентов “имели мужество” сознаться в онанизме. (Переписка Белинского с Бакуниным, где оба стыдливо признаются друг другу в этом грешке, еще не была известна.)

Не воспитывает и школа. “Русская молодежь мало и плохо учится” — не поставимо меньше заграничной. Вместо науки у нее — “тайная наука”, не имеющая ничего общего с настоящей. Французский, немецкий студент — гораздо образованнее русского. Английский студент — недостижимый идеал для русского; он, со своим боксом и греблей, не знает ни онанизма, ни публичных домов (зря у нас, к слову сказать, презирают спорт). Но едва наш чистый студент оканчивает курс, как тут же превращается в Обломова, в чиновника-карьериста или в корыстного дельца.

В кружках русского студенчества отсутствует демократия. “Прогрессивное большинство” топчет меньшинство (даже тех, кто просто учится) как врагов и изменников. Студенты лгут напрапалую профессорам и друг другу — во имя красивых идей. На сходках, под страхом бойкота, голосуют за решения, нравственно неприемлемые для каждого в отдельности.

Дикий идеал русского студенчества — стремление к смерти как доказательству правоты. Левизна в политике измеряется близостью к смерти. Правый хочет жить, левый (на словах или на деле) — умереть. “Социалист-революционер ближе к виселице, чем социал-демократ”. Влечение к смерти парализует совесть. Жить — недостойно; это — буржуазный предрассудок. Но если так, то какой смысл выжидать зрелого возраста? Значит, теряют всякую ценность нравственность и внутренняя целостность, мысль, красота, семья.

Изгоев допускает, что вся Россия может “умереть и погибнуть”, если интеллигенция не переродится.

Александр Соломонович Изгоеву (Ланде) — 37 лет. Впереди у него три ареста и концлагерь при большевиках, философский пароход в 1922 году; он,

оправдав свой выразительный псевдоним, не приживется в русском Париже, умрет в Эстонии в 1935 году. Псевдоним этот, что никем, кажется, не отмечено, — с двойным дном: его можно прочесть еще и как *из гоев*, то есть из неевреев. Может, его мать была русской, но теперь об этом уже никто не помнит.

БЕРДЯЕВ: РУССКАЯ МЫСЛЬ — В БОГОСЛОВИИ

Наша интеллигенция, — пишет Бердяев, — относилась к философии *корыстно*: хотела сделать истину орудием народного счастья. Отсюда наше бескультурье в философии. В занятиях философией видели и видят измену народу. Справедливое *распределение* — а не созидание и творчество — вот что было на уме у всех. По временам даже чтение, увеличение знаний, самое просвещение — считалось у нас делом безнравственным.

Смешно все валить на самодержавие. “Недостойно свободных существ во всем всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать... Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства...”

Молодежь довольствовалась суррогатами мысли. Частные вопросы возгнялись на философский, на богословский уровень. Увлекались материализмом, “самой элементарной и низкой формой философствования”. С появление марксизма резко повысились умственные интересы, молодежь начала европеизироваться, отходить от народничества, но всё равно философия осталась подпоркой борьбе за свободу.

Интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в покаянии, самообличении, смирении перед истиной. Ложно направленное человеколюбие убивает любовь к Богу (истине, красоте). Видеть в человеке только крестьянина или пролетария значит унижать его.

Поклонялись науке — и считали, что она изобличает зло самодержавия или буржуазности, отрицает Бога. Не понимали, что наука политически и религиозно нейтральна. Экономический материализм подменил Бога, стал классовой пролетарской мистикой. Дошли до того, что торжества социализма ожидают в России раньше, чем на Западе.

Истина не бывает национальной, но разные народы ориентированы на разные стороны истины. “Свойства русского национального духа ... творить в области религиозной философии...”

Бердяев зовет Россию к конкретному идеализму, к положительной религии. “Философия есть один из путей *объективирования* мистики; высшей же и полный формой такого объективирования может быть лишь положительная религия...” Русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, соединения “правды-истины” и “правды-справедливости”

Николаю Александровичу Бердяеву — 35 лет. Он умрет в 1948 году, под Парижем.

БУЛГАКОВ: БЕЗНАВРАСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНАЯ ПЕДОКРАТИЯ

После неудачной революции, — пишет Сергей Булгаков, — петровская Россия находится “под угрозой политической и национальной смерти”. Казни,

рост преступности, огрубление нравов отбрасывают страну назад. Литературу захлестнула порнография. Всё застыло, как в сонном царстве. Выручить страну может только интеллигенция, у которой в крови — религиозное чувство.

Давление со стороны полицейского государства вывернуло наизнанку веру интеллигенции. Явилась атеистическая, аскетическая псевдорелигия мученичества и жертвенности. Она презирает “мещанские добродетели Запада”, не видит божественного смысла труда, не сознает, что западная культура — политические свободы, свобода совести, права человека, наука и философия — выросла как целое из религии.

Не поняв Запада, наша интеллигенция выхватила оттуда несколько догматов (веру в естественное совершенство человека, в прогресс) и идолопоклонствует перед ними, упиваясь собою. Самообожание, героический экстаз с истерическим оттенком — вот ее кредо. Она твердит, что все зло — в самодержавии. Для нее нет ни личной вины, ни личной ответственности, нужно лишь свергнуть гнет. Появляется герой-ниспровергатель. Он ставит себя на место Провидения. Его программа “научна”. Его максимализм ведет к вседозволенности. Во имя идеи он с ханжеским самодовольством отнимает имущество и самую жизнь у людей “безыдейных”.

Революционер — гипертрофированный мещанин: свой эгоизм он прикрывает фиговым листком принципиальности. Революционная романтика в упор не видит, что разрушать проще, чем строить. Толпа героев в кредит уменьшает число просто порядочных людей. Герой не умеет работать, глух к доводам разума, не способен нести обычную человеческую ношу. Ему естественно как можно скорее погибнуть, что прямо и говорит Некрасов: “Хорошо умереть молодым”. Историческое затишье, народное благополучие — гнетут героя хуже деспотии. Социализм для него — не постепенное улучшение жизни, а конечное пост-историческое упокоение, нирвана, — после неперемогенного Армагеддона с большой кровью.

Освободительное движение самоотравляется внутренними распрями. В спорах о способах осуществления общей цели единомышленники готовы друг другу глотку перегрызть. Героизм — вообще “начало не собирающее, но разъединяющее”; он аристократичен, надменен. При нем невозможен демократизм даже внутри партии.

В религии носитель духа — старик, в нашей интеллигенции — юноша. Возникает *духовная педократия*, нравственная власть подростков, противоестественная и самоубийственная для общества.

Смирение — ценность и вне христианства. Биографии великих ученых и художников говорят об их интеллектуальном смирении, о недовольстве собою. Русскому же интеллигенту чуждо недовольство собою, чувство самосовершенствования, чувство личной греховности.

Интеллигент одновременно поклоняется народу как языческому кумиру и презирает его как несовершеннолетнего. Он космополит, не знает здорового национального чувства, в нормальных странах опирающегося на традицию, на религиозно-культурные основания. Зато значение русской церкви, по Булгакову, — всемирное. “Как бы ни был темен, непросвещен народ наш, но идеал его — Христос”, а русская интеллигенция “по отношению к религии еще не вышла из отроческого возраста”.

Сергею Николаевичу Булгакову **38** лет. Через девять лет, в **1918**-м, он станет священником. Умрет в Париже, в **1944** году.

КИСТЯКОВСКИЙ: “ЕСТЬ СУДЬЯ В БЕРЛИНЕ!”

Духовная культура и внутренняя свобода, — пишет Богдан Кистяковский, — возможны и достижимы лишь при свободе внешней, гарантированной законом. Человек свободен только в правовом обществе. Русская же интеллигенция никогда не уважала закона. В ее идейном развитии “не участвовала ни одна правовая идея”. Понятие правовой личности в России отсутствует.

Равнодушие к теории права — прямое следствие векового русского беззакония. Неравенство перед судом убило у нас веру в суд.

Современное конституционное государство, говорит Кистяковский, основано на компромиссе. Оно может быть дворянским, буржуазным, рабоче-крестьянским (“как это мы видим на примере Новой Зеландии и Норвегии”) — и вообще бесклассовым. Между строем правовым и социалистическим нет противоречия. В конституционном государстве всего важнее его конституционность. Право можно и нужно отделять от экономики. С появлением новой волны западничества — марксизма — правовые идеи забрезжили в русском сознании, но тут же растворились в народничестве.

Всякая организация нуждается в правилах, регулирующих не *внутреннее* поведение людей (чем занята этика), а их *внешнее* поведение. Но сами правовые нормы не являются чем-то внешним. Они — такие же внутренние элементы нашего духа, как и этические нормы.

В конституционном государстве суд — хранитель и созидатель права. В России не существует независимого нелицеприятного суда. Судьям, их беспристрастию, бескорыстию — не верят. Суд — не уважают. Идея установления истины не дается ни свидетелям, ни экспертам; она им просто не по уму; у них в головах — *справедливость*, а не истина. Бытуют неслыханные в мире понятия “достоверного лжесвидетеля” и “честного лжесвидетеля”. Большинство защитников — не служители права, а борцы за политический идеал — или уж прямые дельцы. Самое слово *суд* у нас употребляется в значении расправы.

Вину за плохие суды нельзя целиком валить на самодержавие. “При совершенно аналогичных политических условиях у других народов суды все-таки отстаивали право. Немецкая народная поговорка «есть судья в Берлине» относится к концу XVIII и к первой половине XIX столетия, когда Пруссия была еще абсолютно монархическим государством...”

Украинец Богдан Александрович Кистяковский (1868-1920) — старший из авторов *Вех*, ему в 1909 году 41 год. Он — потомственный юрист, его отец оставил видный след в русской культуре XIX века как законник и украинский националист. Один из сыновей Богдана Александровича станет известным американским ученым.

ЧТО ОСУЩЕСТВИЛОСЬ

“Нет, я не скажу русскому интеллигенту: «верь», как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: «люби», как говорит Толстой...”, — этими знаменитыми словами начинает свою статью Гершензон. Он, стало быть, отмежевывается от Бердяева и Булгакова, но тут же говорит нам: “Нормальный, душевно-цельный человек не может не быть религиозен”, — а вме-

сте с тем спасаются, по Гершензону, *делающие*, работающие на себя и — тем самым — на общество.

Другие веховцы тоже хотели видеть среди русских людей делателей, создателей, специалистов. Их мечта осуществилась еще при жизни большинства из них. Появились ученые-профессионалы мирового класса: Гамов, Ландау, Капица, если брать крупнейших (хотя первый, *не* получивший *три* положенных ему нобелевских премии, из большевицкой России бежал и вторую часть жизни прожил в свободном мире), а с ними — громадное множество очень высоких профессионалов на ступеньку ниже, не нобелевского, но тоже мирового масштаба, каких царская Россия считала на единицы. Правда, появились они не собственно в России, а в СССР, но всё же под сенью прежней русской культуры, в ее пересыхавшем русле. Правда и то, что величайшим из работавших в России ученых по сей день остается швейцарец Леонард Эйлер; быстрым разумом Невтонов Россия всё-таки не явила; не успела по молодости... но разве малого она достигла за свои 300 лет в Европе? И все эти новые профессионалы, люди, осуществившиеся блистательно, преспокойно обходились без гипотезы о существовании Бога, не нуждались в ней.

Почти все веховцы справедливо подчеркивают, что величайшие из русских писателей стояли неизмеримо выше русской интеллигенции. Этого нельзя было не отметить. Литература XIX века — единственное, в чем Россия действительно оказалась (на короткое время) великой державой, более того — первой страной в мире. Ни один из веховцев не вспоминает о русской музыке или русской живописи, прекрасных, но все же явственно вторичных, с русской литературой несопоставимых. В советское время и в этих областях появились высокие делатели, даже создатели. А советская школа балета? А шахматисты? И никому Бог не потребовался. Обошлись. Высокий профессионал — целостная личность, инстинктивно соблюдающая третью заповедь; он может приобщиться мирового духа, не поминая Бога всеу.

МЕССИАНСКАЯ ЧЕХАРДА

В статьях Изгоева и Кистяковского — Бога нет вовсе. У Франка Бог есть, но прохладный, философски-отрешенный, какой-то нерусский, неродной. У Струве Бог выступает почти как рецепт; он — теплее, нашептывает о национальном и о государстве. У Бердяева, особенно же у Булгакова, государству ласкового слова не досталось, зато Бог — в центре всего, и он — спору нет, обще-христианский, но вместе с тем каким-то образом и прямо наш, русский, родной. Только дисциплина ума да европейская культура (все веховцы — западники) удерживают этих двоих от того, чтобы прямо не сказать: всё истинное понимание Бога — в русском православии, в русском народе.

Вот их-то, Бердяева и Булгакова, и выхватила из всех веховцев новая историческая общность второй половины XX века: крещеная собственность большевиков, *советская интеллигенция*. Их, а с ними — Струве без апологетики монархии. Выхватила — и *выправила*; дополнила на основании нового опыта, включавшего ГУЛАГ и полувековое островное одиночество.

Когда на улице еще стоял тридцатиградусный большевизм, в московских кухнях, служивших гостиницами, не без помощи *Вех*, возродилась и воссияла русская национально-религиозная идея. Славянофилы пришли ко двору,

как никогда прежде. Полная изоляция от всего мира — вот вторая после жестокости особенность СССР; но ведь это уже было под солнцем, и географически тут же: в допетровской Московии, где все, от мала до велика (именно потому, что жили в тридевятом царстве), всем сердцем знали о богоизбранности православных москвитов. Всплыл допетровский соблазн: русское мессианство в духе аксиомы Филофея “Москва — третий Рим, а четвертому не бывать”. Запад, опять непонятый, опять оказался плох у советских интеллигентов — и не в большевистском смысле (этот прах поработанная советская интеллигенция 1960-х уже тайком отряхнула со своих ног), а плох перед русской верой, русской душой. В XX веке воссиял XVII, когда патриарх Филарет, отец первого Романова и современник Филофея, открещивался от Запада тем, что поштучно *перекрещивал* приезжих украинцев и белорусов (то есть поляков; Западом была Польша от моря до моря) *из православия* — соберитесь с духом — *в московское православие*. В сердцах всех и каждого в Московии пребывал не Бог, а русский бог. Москвиты, как это еще Владимир Соловьев отметил, попросту считали себя новыми евреями: продвигали своего племенного бога на вакансию Бога, как если б она еще была свободна. И вот это — стало возвращаться в XX веке, через голову большевизма, но в тесной, родственной связи с ним.

Большевизм никогда бы не победил в одной отдельно взятой стране, не удержался бы в ней семьдесят лет — без Филофея и Филарета, без глубинного чувства избранничества, сидевшего на подсознательном уровне в массах: там, где не думают и не читают. “Москва — столица всего прогрессивного человечества”; “марксизм-ленинизм — единственно правильное учение”; “есть только один путь построения социализма — наш советский”: что это как ни Филофей, чищенный под Лениным? Дикарь всем сердцем знает, что он — лучший, но не лично (личности у него нет), а в рядах лучшего племени, которое только и есть люди; соседнее же племя — недочеловеки, не вошедшие в разум, а чуть в сторону — там уже просто свиньи живут, которых есть можно.

Но раз Москва — пуп земли со срединным храмом, то как же нам, познавшим истину о русском боге, людям, к тому же, добрым, задушевым (особенную задушевность приписывает себе буквально каждый народ), не осчастливить, не сжать в жарких объятиях наших заблудших братьев меньших, несмышлёнышей в Восточной Европе и на Дальнем Востоке, в отсталой Азии, в бедной угнетенной Африке, в нищей Латинской Америке, а там, глядишь, и в зажравшихся в своем мещанстве Париже и Вашингтоне, — повсюду? Империализм большевистского Кремля ничем не отличался от империализма Ивана III и Василия III: он *тоже* нес людям свет, правду, избавление. Этой радостью — быть русскими — русские хотели поделиться с другими.

Крещеная собственность 1950-х/1960-х, нищая, но гордая советская интеллигенция, тайком отвергнув большевизм на московских кухнях, сперва осталась с позитивизмом, который веховцы осуждают; то есть ни с чем. Но свято место не бывает пусто. Постепенно пустоту стала заполнять мессианская идея, только теперь слова были другие. Говорили: разве какой-нибудь народ страдал больше русского? Говорили с тайной, а потом и с явной подлостью на уме: будто ГУЛАГ не русские, а инородцы устроили; будто войну — не русские накликали и спровоцировали; будто не русские вели эту войну, не жалея русской крови. Русские — спасибо большевикам — теперь становились избранниками через страдание. Вернулось и географическое помешательство, к которому Ключевский сводил все беды России; вернулось в форме гордого вопроса: раз-

ве наши предки не были великие люди, если создали пространнейшее в истории государство (обширнейшее по числу квадратных километров вечной мерзлоты)? Тютчева вспомнили: “Шестую часть земного круга”. По сей день твердят об “одной шестой”, не сознавая, что она давно стала одной девятой; не понимая даже, что территории грош цена; Венеция была великой державой, в одиночку воевала то со всей Европой, то с Блистательной Портой, простиравшейся от Персидского залива до Гибралтара и Вены, а сама — размером с Васильевский остров.

Будь граница открыта для людей и мысли, никогда бы образованные люди не додумались до всего этого словоблудия. Но советский изоляционизм был почище московитского, не мешал самообольщению, наоборот, подхлестывал его. Избранничество воссияло с новой силой, когда большевизм терял последние зубы; новые настроения диффундировали наверх, к обуржуазившимся номенклатурным угнетателям, где и пришлось как раз впору и вовремя.

В 1991 году единственно-правильное марксистско-ленинское учение — словно ветром сдуло, и на его место, как Иванушка на печи, въехало русское православие. Почва была готова. Вчерашние кэжэбешники с Лубянки, не отмыв рук от крови, но уже украв миллиарды, истово крестятся и бьют поклоны перед чудотворными иконами. Ханжество царит апокалиптическое. Комсомольцы стали богомольцами не моргнув глазом, не осознав перемены, на другой день после смены вывески. Все, как один, уверяют, что и прежде веровали. Осмысление Бога в массах воцерковленных недоучек с высшим образованием едва поднимается над таковым у русских крестьян царского времени, для которых Троица была Христос, Богоматерь и Никола Угодник. Главное — крест массивный нацепить да свечку почаще ставить, а еще важнее твердить: я — русский. Таковы оказались на поверку вчерашние интернационалисты, строители светлого будущего всего человечества.

Правы те из веховцев, кто говорит, что нормальный человек должен носить Бога в душе и претворять его в своих делах, но сегодняшняя Россия дальше от этого их идеала, чем безбожный Советский Союз, не говоря уже о гнилой (насквозь гнилой, но всё-таки — прекраснотушной) русской интеллигенции XIX века. Новые русские, сегодняшние россияне — недостойны ее памяти.

ОНИ ОСТАЛИСЬ НАРОДНИКАМИ

Все веховцы осуждают народничество 1860-х — и все, почти все, остаются народниками. Кистяковский позволяет себе обойтись без народнической мистики просто потому, что он — единственный среди веховцев профессионал; он в этой гипотезе не нуждается. Струве — тоже единственный — решается поставить святотатственный вопрос об ответственности и долге *народа*, но тут же отскакивает в сторону, в объятья мифа.

Веховцам — всё еще грезится в простонародье какая-то особая, не дающаяся интеллигенции правда или хоть цельность, притом религиозная. Последующий страшный опыт показал: правды в простонародье не было ни на грош, а цельность, действительно, была, только не христианская, а языческая: состояла не в постижении Христа с Николой Угодником как третьим лицом Троицы, а в исповедании первобытной дикости. Русское крестьянство и вышедшие из него городские приказчики (спасибо московитскому изоляцио-

низму, византийскому православию и необъятным просторам родины) находились, без преувеличения, на доисторическом, на внеисторическом уровне. Не дикость ли, что Библия не была полностью переведена на русский язык до второй половины XIX века? Назывные христиане не прочли свою священную книгу за 800 лет своей истории. Так и не успели прочесть до прихода гегемона.

Верно: слово *народ* завораживает. Во-первых, **vox populi vox dei**, что было сущей правдой в античные времена, при мелких, местных богах. Во-вторых и в главных, русского француз попутал с его 1789 годом; идолопоклонство перед народом началось со взятия Бастилии. Счастливы англичане, обходящиеся без этого соблазнительного слова: для них есть только люди, конкретные люди да страна, и нет никакого *народа*. Не отсюда ли английские свободы и американская конституция, этот Парфенон права? Повторим до оскомины то, чего в России не понимают: английское **nation** вовсе не *нация*, не *народ*, а *страна*. Словосочетание *Организация объединенных наций* — хрестоматийная ошибка переводчика. Разве народы эта организация объединяет, а не страны?

Струве остановился на пороге: не решился сказать, что человек необразованный, тёмный, — не то что глупее образованного (даже это — очевидное — не прозвучало), а что он и не добрее и не честнее образованного. Статистически — необразованный крадет и убивает чаще. Необразованный и бедный: да; это обычно одно и то же. Вот тут-то все и спотыкаются: на сострадании. Однако ж пора посмотреть правде в глаза и произнести простой силлогизм: бедный не лучше богатого, а хуже его во всех отношениях (тоже — статистически; святых и философов-аскетов в счет не берем); простонародье состояло и состоит из бедных, значит, святость большого множества бедных людей — вздор. Неприятные слова? Но их нужно произнести — и навсегда покончить с идолопоклонством перед чернью. Чтобы сделать их очевидными, вспомним: всё подлинное в человеке, включая способность к состраданию, начинается с мысли о своем несовершенстве, — но откуда же этому взяться у самодовольного дикаря?

Франк подступает к тому же с другой стороны — и тоже недоговаривает, да еще на чужой авторитет опирается. “Есть только один класс людей, которые еще более своекорыстны, чем богатые, и это — бедные”, — цитирует он Оскара Уайльда. Тут бы прямо сказать: социализм подогревается завистью, бедные — завистливее богатых; но на это духу не хватает и у Франка.

Истина, как это еще Мартин Лютер говорил, нелицеприятна, не льстит никому; совесть мучает каждого, у кого она есть; но всё-таки мысль человеческая всегда занята тем, чтобы приблизиться к истине и к совести. Соберемся же с духом и скажем, что простонародье всегда в своей массе хуже людей образованных. Справедливо это для любого народа, но урок нам преподала Россия. Пресловутый “русский народ” оказался в сто раз хуже дрянной “русской интеллигенции”: вот чего не понимали веховцы. ГУЛАГ не оставил в этом никаких сомнений. Измыслили ГУЛАГ революционеры, *выходцы* из интеллигенции, ее детки-выродки; осуществил ГУЛАГ, принял в душу и поднял на свои богатырские плечи эту небывалую в истории подлость — тот самый “народ-богоносец”, вольноотпущенник в третьем поколении. Он, а не интеллигенция, сладострастно упивался жестокостью, сделал пытку и убийство рутиной. Отличительной особенностью сталинских пыточных камер было как раз издевательство черни над образованными людьми; был же осужден человек как ас-

сиро-вавилонский шпион; сидел с таким приговором; это не выдумка. На смену изуверу-романтику, осужденному веховцами, пришел изувер-мещанин, изувер-обыватель, имя же ему легион. Народ-метафизик, мужик-христофор оказался не то что христопродавцем, он не смог понять азбуки любой метафизики: сострадания.

Но этот “русский народ” — не был Россией. Гнилая, никчемная, завравшаяся, но совестливая и прекраснодушная русская интеллигенция — была Россией, а он — не был. Не имел к России отношения. Гнилая интеллигенция стала черноземом для великой литературы, для прекрасной музыки и живописи. Она страдала. Она обнимала ноги “народу”. Народ молчал, потому что не понимал ни слова. Когда в его волчьетемном сознании что-то зашевелилось, пинком ноги столкнул интеллигенцию (читай: Россию) с парохода современности, прошелся гоголем перед всем миром (“я самый передовой и научный!”), умылся кровью и принялся торговать нефтью и газом да скупать дворцы на Западе. У сегодняшних русских — столько же прав на Пушкина и Толстого, сколько у сегодняшних греков — на Парфенон.

Веховцы осудили лозунг “Долой самодержавие!”, осторожно произнесли “Долой интеллигенцию!”, но не могли и вообразить того, что вскоре сказала сама история: “Долой народ!” Без народопоклонства (спору нет, очень русского и славянофильского, но по происхождению — всё-таки французского, из 1789 года вынесенного, в *Отверженных* Гюго вычитанного) не было бы ни большевизма, ни фашизма, ни нацизма. Народопоклонство — вот что сожрало Россию, оставив от нее рожки да ножки.

ОНИ УСТАРЕЛИ

Заострим характеристики, построим схему. Понять значит упростить... а уж простить или нет, вопрос второй.

Была Российская империя, “страна господ, страна рабов”. В ней было два не связанных друг с другом народа: интеллигенция и простонародье. Над этими двумя чужими друг другу народами царило чужеродное деспотическое правительство. Выходцы из гнилой интеллигенции (ее самая гниль), спровоцировали гнилое простонародье и в 1917 году свергли гнилое правительство, а в 1922 году (берем дату философского парохода) покончили с гнилой интеллигенцией. Осталось одно простонародье, гнилое, но самодовольное. Россия исчезла с географической и культурной карты. Появился СССР, к которому лучше подходит другая выдержка из русской классики: “все рабы, сверху до низу”.

Исторически случались так называемые республики рабов, но все они были недолговечны; им не хватало религиозно-идеологической базы. В СССР такая база нашлась: то самое французское народничество в марксистском фраке, о котором говорят веховцы. Новая республика рабов просуществовала 70 лет. Жива она была народничеством, взятым у интеллигенции (у прежней, которая Гюго читала), самой дикой разновидностью этого народничества: с Филофеем и Филаретом в уме, с третьим Римом без православия. Этим она держалась, а на Западе думали, что суть новой страны в ее одежке, в марксистском фраке. Народничества, Филофея с Филаретом, питавших кошмарный русский империализм, там не чуяли, живого нерва большевизма не понимали — и

опасались, что в марксизме есть важная правда (или кривда, которая многим кажется правдой). Вся сила СССР состояла не в танках (1941 год показал, чего они стоят даже при десятикратном превосходстве) и не в боеголовках (не мешавших проиграть войну Афганистану), а в идеологии. СССР был великой державой благодаря русскому народному Марксу. Не потеря Украины с ее черноземом и Казахстана с его рудой уменьшило роль России. Одна шестая или одна девятая — тут разницы нет. Только сняв свой идеологический фрак, Россия, со всеми своими танками и боеголовками, разом оказалась страной второго ряда, страной третьего мира.

Веховцы устарели потому, что они рассуждают о граде Китеже — о петровской России — и об интеллигенции, которой в 1922 году не стало. Новая советская интеллигенция, сперва языческая, позитивистская, затем — крещеная собственность большевиков, — уже потому не родня прежней русской интеллигенции, что сложилась в карцере, в стране за железным занавесом, в отрыве от остального мира. На Западе для мысли нет границ — и нет покоя; там всегда думают, спорят, перекликаются. Там читают не только по-русски. В СССР — сперва вовсе не думали, только верили (“в железные дороги и беспроволочный телеграф”, по насмешливому слову Струве); а когда начали думать, Филофей с Филаретом опять выскочили, как чорт из табакерки. Рухнуло единственное правильное учение, а эти двое только посвежели и окрепли, румянцем налились. Их подпорка — всё та же вера в необъятные просторы вечной мерзлоты, заключающие в себе русскую правду.

Смехотворный комитет по разработке национальной идеи, существовавший в Москве в 1990-е годы, на самом деле не идею искал, она была готовенькая, нестареющая, филофейная; он искал для нее подходящий фрак; искал, да не нашел. Марксизм заменить нечем; волшебное слово, манившее и пугавшее Запад, утрачено; не скажешь ведь прямо перед всем миром, что русское православие — единственно правильное христианское учение и светлое будущее всего человечества. Приходится держать это в уме, говорить в своем кругу, среди посвященных.

И вот мы видим, как внешним выражением национальной идеи современной России стало одно: тьяканье на США. Кремль не может забыть, что еще недавно действительно противостоял Вашингтону, и не хочет признать, что сейчас оказался ему по щиколотку. Кремль поддержит кого угодно, хоть Усаму бин-Ладена, лишь бы пойти наперекор Вашингтону. Не может Кремль смириться с мыслью о том, что третий Рим не в Москве состоялся. А тем временем на горизонте уже четвертый маячит: Пекин. Давно ли Москва похлопывала его по плечу как младшего брата? А сейчас — кто всерьез поставит Москву рядом с Пекином? Смешно и сравнивать.

Имя России

Веховцы устарели потому, что России — нет. Современная Россия — Россия только по имени. Право на самое это имя она утратила вместе с Украиной и Белоруссией, но это бы ладно, да тут и спорить можно; Франция вон тоже под чужеродным именем живет — и ничего, держится; у Австрии — имя с исторической подковыркой: она — “восточная держава” по отношению к Франции,

когда та принадлежала франкам (немцам). А Румыния? Она, если имени верить, — второй Рим, Византия, а в корне слова — и первый Рим присутствует...

Дело не в имени. Дело в том, что в культурном и нравственном отношении современная Россия — не преемница России петровской, восьмьюродная ей внучатая племянница, до нее не дотягивающая. В гораздо большей степени она — еще одно воплощение республики рабов, охлократия вольноотпущенников. Ошибся Георгий Иванов, сказавший “России не было”. Она *была*, да сплыла. Прав Максимилиан Волошин: “С Россией кончено”. Россия настоящая — “Петра творенье”, существовавшее между 1698 годом и 1917 годом: всего 219 лет. Если очень натянуть поводья, можно возвести ее к Ивану III, к этому несостоявшемуся Петру, в Нарве прорубавшему окно в Европу, хотя самого этого имени — *Россия* — он не знал: оно было впервые написано кириллицей при его наследнике Василии III: в 1517 году, в год Лютера. Ни один человек на Западе не знал этого имени еще добрых сто лет. Даже в год завершения Великого посольства, в 1698 году, с которого следует начинать историю России, — всюду в Европе Петра именуют не русским царем, а царем Московии...

В 2008 году устроили в Москве телевизионный диспут — о том, чье имя лучше всего выражает сущность России. Сошлись на Александре Невском. В первый момент кажется: догадались, поняли; молодцы! Александр — данник и ярлычник Орды, ее клевет. Догадались, значит, что Московия не столько Киевской Руси наследует, сколько Орде. Но нет, этого не прозвучало; этого и в мыслях не было. В мыслях было: “На большой Руси, на святой Руси не бывать врагу”. В мыслях был насквозь фальшивый, ура-патриотический, пошлый фильм Эйзенштейна, в котором вся правда сводится к словам одного из героев: “Коротка кольчужка-то!”; в Германии, где толк в таких делах знают, этот фильм прямо называли манифестом славянского фашизма.

Диспутировали крещеные вольноотпущенники, вчерашние большевики, сытые советские интеллигенты. Один из этих набобов сделал нечто, еще недавно невозможное: произнес с экрана имя Владимира Вейдле (1895-1979), мыслителя первой русской эмиграции; процитировал его слова из книги *Безымянная страна* о том, что имя России в советский период не значилось на политической карте мира. Мог ли Владимир Васильевич Вейдле, умерший почти безвестным, мечтать о таком? Какой прогресс! Но тут же, вдохните глубже, прозвучало с экрана нечто ошеломляющее: оказывается, первая мировая война была затеяна... чтобы остановить быстрый экономический рост России! Отдышались? Тогда вот еще мысль: вторая мировая война была затеяна Британией — чтобы сравить Германию и СССР... То есть весь мир занят одной только Россией, и не с любовью на нее взирает, как бы ему следовало, не с надеждой, а со страхом — и знай козни строит против одной отдельно взятой страны, воплощающей в себе и несущей народам мира правду (неважно, через марксизм или через православие)... Такой вот *круглый стол* выдался. И это — Россия?! Не помешанные ли правят бал в Москве? Не в этой ли мании — пресловутая всемирная отзывчивость? Кого веховцы звали к смирению?

Россия была, да сплыла. Она вся, от начала до конца, до 1917 года, — была петровской. Она сменила имя Петра на имя Сталина — и Россией быть перестала. Как умудрились отсеять настоящее имя этой страны в ходе телевизионного опроса? Всплыть мог только Сталин — и по совести, и по состоянию путинской охлократии. От настоящего имени отгородились на всякий случай:

береженого Бог бережет. Правду — сказать не решились. Выставили нечто отвлеченное, выхолощенное, не очень и русское — потому что Новгород, пока был жив, никогда не считал себя Русью.

ЧТО НЕ УСТАРЕЛО

Не устарела в *Vexis* та самая статья, которую в упор не замечали: статья Богдана Кистяковского. Только она говорит нечто, относящееся к современности. В России тогдашней и теперешней, в любой России — презирают закон и суд, отождествляют закон с силой, а суд — с расправой.

В этом одном — путеводная нить всей русской истории; единственное, что прочно связывает Московию с Россией. Конечно, на поверхности — другие связующие нити: православие и династические линии, но без монархии преспокойно обходятся уже давно, а православие очень уж рознится от Киева к Москве, от XV века к XVII, не говоря о сегодняшнем, насквозь ханжеском; уж очень оно льнет к власти; и как легко слиняло в 1917-м, как бесшабашно вернулось в 1991-м! Зато презрение к суду и закону — стоит неколебимее России. Поколебалось на минуту в 1864 году, при царе-освободителе, когда появился суд присяжных, да тотчас вернулось в свою колею.

Но суд и закон — не иноземное иго, а мы с вами. Кого же мы презираем? Презрение к суду и закону есть презрение к соотечественникам, значит — и к отечеству, если понимать под ним людей, а не камни и деревья. Престранный феномен: русские — презирают самих себя, и тут же хором кричат: мы — лучшие!

Кистяковский писал в цивилизованной, европейской стране. У него перед глазами — ласковое, плюшевое беззаконие петровского царизма, ссылающее смертельного врага в Шушенское, где тот отдыхает да на охоту похаживает. Кистяковский даже шутит — настолько верит в будущее; приводит стихи Бориса Алмазова (1827-1876):

По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.

Не видит, чудака, что завтра государство монополизировало беззаконие, возведет произвол в принцип; что на всенародно воздвигнутый престол, какой Озимандии не снился, воссядет убийца, рядом с которым Пугачев и Ашшурбанипал — сентиментальные благодетели. Рассуждает о конституционном государстве — на пороге ГУЛАГа...

Но вот Россия справилась с большевизмом. Ведь справилась, поправились, больше не болеет? Она теперь христианская страна. Иконы да благолепие. Кресты вместо звезд. И что? И ничего; всё то же, только техника другая. Осенясь крестным знаменем, православный человек убивает топором православного священника-богослова — во имя православия, за русское дело: за

одно то, что тот из евреев. Кажется, что — каменным топором убивает, и прямо на заре новой святой Руси. Где и когда подобное случалось? Я другой такой страны не знаю.

Дальше — больше: журналистов отстреливают на улицах среди бела дня, по одному в день. Это уже рутина, дело житейское; никто и не замечает. Отстреливают предпринимателей. Принялись за адвокатов. Сравнительно с советскими временами жертв в тысячи раз меньше, нет египетских строек, убивают без пыток, сразу, — не прогресс ли? При Сталине убивали за то, что воздухом дышишь и по-русски говоришь; больше ни за что. Сейчас — убивают не всех подряд, а *делателей*, тех самых, о которых мечтали веховцы: бизнесменов, профессионалов, патриотов. Опять прогресс? Догнали и перегнали мафию? Может быть, но мы, следуя Кистяковскому, возьмем только внешнюю сторону дела: закона — нет как нет; ни на улицах, ни в сердцах людей. Есть — валюта да Малюта.

А суд? То же насилие, что и всегда. Произнесешь: ЮКОС, и все всё понимают: бессовестный грабеж среди бела дня, расправа с инакомыслием на новый лад — в спокойной уверенности, что народ-завистник, народ-вольнотпущенник поддержит и похвалит правительственных воров - головорезов. (Не понимают в Кремле только одного: что вписали имя Ходорковского в историю, сделали его эпонимом; ну, да им наплевать...) Когда кремлевский сатрап наживает в должности миллиарды, это народу понятно и близко, ведь власть — фетиш черни, а когда выходец из народа разбогател своим трудом и умом — этого простить нельзя.

Судья в новой Московии — откровенный прислужник власти без стыда и совести. Независимость суда лежит за пределами воображения новых русских. “Британские власти укрывают террористов”, писали в Москве в связи с невыдачей Закаева — и не понимали, что одной этой статьей, самим этим названием, невыдача была гарантирована: как отдать человека в страну, где он осужден до суда, *заранее*? Вслушайтесь: “укрывали — кто? — власти”! Московиты не понимали, что если б в демократической стране хоть слух прошел о попытке кабинета воздействовать на решение суда, там тотчас потребовались бы новые выборы.

Или вот еще: “МИД РФ возмущен оправданием американца за смерть ребенка из России”. Не обсуждаем кошмарный строй этой фразы, образчик русского языка теперешних московских борзописцев; берем только ее убогий смысл — и рот открываем: в России думают, что министерство может иметь свое мнение по поводу решения суда! В Москве так думают! Рабская психология.

“Россия не удалась” — эти горькие слова сказал некогда Владимир Вейдле, страстный патриот, верующий православный, русский европеец, последний блистательный представитель России веховцев, которой больше нет. Сказал в советские времена, когда еще была надежда, всем нам согревавшая души, — надежда совершенно в духе той, с которой носилась гнилая интеллигенция веховцев: скинуть ярмо — и всё само собою наладится, потому что есть большой, мудрый и добрый русский народ. Сейчас, когда в России осталась одна только самодовольная чернь, ухмыляющаяся от Москвы до самых до окраин, — не видно ярма, которое следовало бы скинуть. Нет и надежды.

26 января 2009,
Лондон